

---

В. П. БУЛДАКОВ

**РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ:  
ИМИТАЦИЯ ПРОГРЕССА  
И САМООБМАНЫ ИМПЕРСКОГО БЫТИЯ**

*Европейский индустриальный прогресс словно создал завесу над реальностью. Произошло настоящее «самообольщение прогрессом». К началу XX в. это настроение передалось российским элитам, пребывавшим в убеждении, что революция расчистит дорогу к всеобщему миру и благоденствию. В марте 1917 г. интеллигенция старалась не замечать пугающих вспышек бунтарского насилия. Между тем для России не прошло даром увлечение утопиями, связанными с сакрально-патерналистскими иллюзиями, обратной стороной которых становился отчаянный бунт. Политические элиты упорно не замечали социальной архаики. Более того, самые радикальные из них, большевики, сделали ставку на бунтарское насилие, рассчитывая, что оно расчистит дорогу мировой революции, которая ассоциировалась с тотальным прогрессом всего человечества. Они мечтали о прорыве в будущее, но вынуждены были сделать социальную архаику своей главной опорой. Реальный прогресс на такой основе был невозможен, пришлось его имитировать. Исследователи длительное время не замечали, что революция в России явилась откатом к привычному авторитарно-патерналистскому существованию под «передовыми» социалистическими лозунгами.*

**Ключевые слова:** Россия, прогресс, мировая война, революция, насилие, бунт, утопии.

История полна парадоксов. Но более примечательны не они сами по себе, а то, что их символические намеки не замечаются даже профессиональными обществоведами. Скажем, совсем недавно российская революция была объявлена историками – с высочайшего дозволения властей предрержащих – «великой» (Петров 2017: 12–26). Тем не менее год назад с ней связывали «гибель огромной культурно-цивилизационной системы» (Боханов и др. 2016: 1325), а ее празднование еще ранее было отменено (или под-

менено) из политических соображений. Чем обусловлена такая непоследовательность и разногласия и почему подобное стало возможным?

Да, революция действительно была Великой – как по масштабам разрушений, так и по величайшему (пусть неадекватному) воздействию на внешний мир. Но как быть с ее «социалистическими» ценностями? Или они были изначально ложными?

Конечно, человек и человечество живут иллюзиями и мифами, которые упорно побеждают любые умствования (Булдаков 2013). Но почему вместо отказа от них мы нагромождаем на былые химеры воображения все новые и новые умозрительные построения? И какой была революция в действительности? Может быть, просто антигосударственной?

### **1. «Бунт на корабле»?**

Россия изначально была сухопутной державой, стремившейся при этом, как и положено империи, наращивать маринистское могущество. Примечательно, что вплоть до XX в. главные достижения российского оружия ассоциировались с военно-морскими победами. Но почему вслед за тем положение радикально изменилось?

Стоит напомнить: 1904 год – Порт-Артур, 1905-й – Цусима, броненосец «Князь Потемкин-Таврический», крейсер «Очаков» и т. п. Да, бунт на корабле – явление старое, как само мореплавание. Но почему в России сей феномен стал поистине символическим?

В годы Первой мировой войны матросы бунтовали не только в России. Но нигде расправы над флотскими офицерами не приобретали такого жуткого размаха, как в марте 1917 г. в Кронштадте и Гельсингфорсе (Булдаков 2010: 123–124, 226; Булдаков, Леонтьева 2015: 473–474). И еще один парадокс: эти события остались незамеченными, революция была объявлена мирной!

Сегодня профессиональные историки соглашаются: дело не в «немецких шпионах», якобы «науськивающих» матросов, и не в «предателях» с немецкими фамилиями среди командиров. Убивали требовательных офицеров, которые пользовались, однако, дурной репутацией. А потому первыми жертвами революции стали те, кто

в глазах низов олицетворял старый порядок в его наиболее крайнем крепостническом воплощении.

Россия была великой империей, решительно вступившей в «железный» XX век, базируясь на архаичных авторитарно-патерналистских основаниях. Бюрократия довела этот исторический парадокс до абсурда, превратив державу в полицейское государство. Во флоте это не могло не сказаться с особой силой – офицерство в глазах матросов представало «барской» кастой. Но дело не только в гипертрофированном отчуждении верхов и низов. Флотский офицер в силу особенностей профессии видел в матросах своеобразный придаток к военной машине, от слаженности работы которой зависела жизнь и смерть корабля: индустриальный век диктовал новые принципы власти-подчинения. Патерналистское сознание этого не принимало – отсюда высочайшая роль протестных настроений среди матросов. Характерно, что некоторые большевики считали, будто «в сущности анархизма у них никакого и не было, а было стихийное бунтарство, ухарство, озорство и, как реакция военноморской муштры, неумное отрицание всякого порядка, всякой дисциплины» (Бонч-Бруевич 1926: 20).

Революция не случайно представила целый ряд знаковых событий, так или иначе связанных с флотом. К весне 1917 г. стал известен феномен «Кронштадтской республики» – ее обитатели проводили в жизнь принципы революционного самоуправления, не желая подчиняться Временному правительству. Неудивительно, что «демократическая» власть тут же объявила их сепаратистами. Большевики, напротив, наибольшую поддержку приобрели именно среди матросов, названных Л. Д. Троцким «красой и гордостью революции». Символично, что именно один из их представителей А. Г. Железняков в прямом смысле слова выставил за дверь членов Учредительного собрания. Характерно, что этот легендарный «матрос-партизан» был довольно послушным орудием большевиков, в отличие от своего брата из числа вечно пьяных «революционных садистов» (Там же: 20–23), наводящих страх на всю Россию.

Этими флотскими фигурами история революции не исчерпывается. Известна фигура Ф. Ф. Раскольников, обеспечившего поддержку большевиков на Балтийском флоте, но со временем взбунтовавшегося против И. В. Сталина. Куда более колоритен П. Е. Ды-

бенко, бывший одно время наркомом по военным делам, которого не без оснований обвиняли в разгульном образе жизни, злоупотреблении алкоголем, бессудных массовых расстрелах (Булдаков, Леонтьева 2015: 316, 467–469). Его боевой подругой стала аристократка-большевичка А. М. Коллонтай, в 1917 г. усиленно агитировавшая балтийских матросов еще задолго до Октябрьского переворота.

Известный сатирик А. Т. Аверченко не случайно сравнивал «генеральшу Коллонтай» с персидской княжной при «Степане Тимофеевиче Ленине» (Дорошевич 1917: 86). Революция смешала крайности: океан матросских страстей словно захлестнул земную твердь. Литературный Григорий Мелехов не случайно отчаянно рубал «братков», а затем впадал в пьяную истерику. Так или иначе, и революция, и контрреволюция нуждались в носителях социальных крайностей. Наиболее ощутимо их поставляла флотская среда.

Тогдашний военный корабль был своего рода апофеозом прогресса технологий начала XX в. Но матросы воспринимали его как воплощение старых крепостнических порядков в новейшей ипостаси. Такая реинкарнация российского крепостничества в обличье технологического прогресса определенно ассоциировалась с Властью. В лице матросской вольницы Россия готова была к отчаянному бунту против этатизированного модерна.

Контрреволюция также приобрела «флотскую» окраску. Символичен расстрел назначенного большевиками командующим Балтийским флотом капитана 1-го ранга А. М. Щастного, обвиненного Л. Д. Троцким в подготовке «условий для контрреволюционного государственного переворота». На деле создателю Красной армии попросту не понравилась излишняя независимость капитана, который спас флот вместо того, чтобы передать его немцам в соответствии с условиями Брестского мира (Булдаков 2010: 385, 473). С другой стороны, «верховным правителем» России антибольшевицкие силы признали не сухопутного генерала, а *адмирала* А. В. Колчака. Кстати, правление последнего в значительной степени оказалось неудачным в силу того, что он исходил из флотских понятий порядка и дисциплины, которой на его «крестьянской» территории и в войсках в принципе не могло быть.

Так или иначе, «красная смута» завершилась Кронштадтским мятежом. Военно-коммунистический «порядок» оказался не по душе тем, кто активно помог приходу к власти большевиков. И это было не случайно. Под покровом борьбы европеизированных партий революция стала бунтом традиционализма против модерного «порядка» (Buldakov 2017). Но европеизированные элиты, включая большевиков, этого замечать не хотели.

## **2. Образы и символы «застойной» российской истории**

Если справедливо, что образ – это символ символов, счастливо соединяющий в себе опыт веков и озарение пророчества, то для понимания истоков революции вечным соблазном будет предшествующая ей русская литература. При этом не стоит в сотый раз тревожить Ф. М. Достоевского, достаточно вспомнить хрестоматийное произведение Н. В. Гоголя, отмеченное хитроватым юмором, благодушным оптимизмом и светлым поворотом фантазии.

Итак, в ночь перед Рождеством трудолюбивый, в меру пьющий и набожный малороссийский кузнец (по совместительству деревенский художник), отчаявшись завоевать сердце лукавой сельской красавицы, по случайности оседлал черта и вместо самоубийственной проруби ухитрился слетать к завораживающе отдаленному российскому престолу, дабы разом решить свои амурные проблемы. Бесшабашный замысел удался в полной мере. Как писал современник Н. В. Гоголя К. Маркс, можно заключить договор с дьяволом, если уверен, что сумеешь перехитрить его. Кузнец, как и положено в рождественской сказке, перехитрил глуповатого черта.

Переложив поэтику вымысла на приземленный язык исторической психологии, мы обнаружим более чем своеобразный взгляд на соотношение человеческого счастья, общественного блага и возможностей высшей власти. Получается, что власть, помимо прочего, призвана вносить легкие и мудрые, как мазки щедрого гения, коррективы в незаконченное полотно людского бытия. Именно вездесущность «идеального» имперства может превратить непредсказуемый хаос человеческих страстей в социально-эстетическую гармонию. Конечно, идею не назовешь новой. В преимуществах императорской власти убеждал еще Полибий. А об утопии «народ-

ного царя» писали как до революции, так и после нее. Однако при внимательном взгляде на гоголевский вымысел обнаруживаются незаметные намеки, характеризующие самообманы российского имперского бытия.

Во-первых, получается, что до слишком отдаленной вершины власти простой человек может добраться разве что чудом, а такое, скорее всего, возможно перед Рождеством. Во-вторых, естественным поделщиком в этом рискованном мероприятии может стать черт, обладающий почему-то (запомним это) «немецкой» внешностью. В-третьих, грех общения с нечистой силой можно покрыть на стезе творчества, красочно изобразив своего гнусного помощника на стене православного собора. Наконец, самое примечательное: можно вообще не совершать излишне рискованных вояжей, ибо прекрасная пейзажная внутренне готова уступить естественной логике жизни.

Последний способ устройства личного счастья характерен, однако, не для российского крестьянина, а для западного бюргера. Тот отправился бы искать достойные его возлюбленной черевички на ближайший рынок, прибегнув к помощи не дьявола, а кошелька с нажитыми с Божьей помощью талерами. При всей конгениальности социально-литературных утопий гоголевский вымысел разительно отличается от карьеры европейской Золушки. Согласно Гоголю, российскому человеку суждено следовать нелинейной логике страсти, довольствуясь при этом непритязательным существованием в хижине.

Понятия прогресса в те времена не существовало. Намек на него появился в «Мертвых душах» в лице человека с «немецкой» внешностью – Чичикова. Однако, судя по Гоголю, время таких «проводников прогресса» еще не пришло.

Впрочем, классик сочинял не только рождественские сказки и повести-притчи. Одно из самых ярких его произведений воспекает «русскую вольницу», не пожелавшую мириться с польским порядком. Люди Средневековья не знали понятия «Родина» в нынешнем его значении. Зато они знали Веру, позволявшую отделять «своих» от «чужих». И под знаменами веры время от времени начинали убивать тех, кто мешал их привычной жизнедеятельности.

В провал между двумя конфликтующими культурами – православной и католической – втиснулся образ еврея, пытавшегося выжить путем создания собственного жизненного пространства между этими крайностями. Однако в тогдашнем разгуле страстей «срединная» (рыночная) культура укорениться не могла. Через сотню лет после гоголевской литературной смуты на Украине наступит реальное Смутное время, в результате которого казаками Б. Хмельницкого будет вырезано несколько десятков тысяч евреев. Их «вина» состояла в том, что они помогали панам эксплуатировать холопов.

Между «порядком» и «смутой» в традиционном сознании всегда прописаны «бесы», причем отнюдь не библейские. Их появление сигнализирует о смутном ожидании надвигающейся угрозы. Общественное сознание отыскивает их, чтобы не потерять социальные ориентиры. Этим пользуется слабая власть – эскалация образа врага дает ей шанс на выживание.

«Бесовская» тема не случайно прописалась в русской литературе задолго до революции. Начавшись с шутовой гоголевской «ложки дегтя возле бочки меда», она закончилась своего рода моделированием inferнальных наплывов социальной истерии. Ф. М. Достоевский откровенно предупреждал о появлении людских скопищ, в которых «человек толпы» не умеет смотреть на мир иначе как сквозь прицел разрушительных догматов. Позднее уплотнившееся социокультурное пространство России поставило на литературный конвейер всевозможных «мелких бесов».

Все это имеет самое непосредственное отношение не только к реалиям Русской революции, но и к сегодняшним представлениям о ней. Мы упорно смотрим на нее глазами революционеров и контрреволюционеров, тогда как следовало бы позволить себе взглянуть на нее и сквозь призму гоголевской фантазии, превратившейся со временем в многозначительную притчу. Если представить ее в виде психосоциальной матрицы российского бытия, а затем экстраполировать на события 1917 г., то можно вывести простую и выразительную схему «революционного соблазна». И она реализуется тем естественнее, чем основательнее меняется соотношение между реальным и символическим в сознании сму-

ценных свидетелей «невероятных» событий, а со временем и их поверхностных историографов.

Так или иначе, нам, сегодняшним, следовало бы почувствовать, что это *наша* революция, хаос *наших собственных* страстей, которые мы упорно несем в себе сквозь время. Именно анализ эмоций прошлого, помноженных на недомыслие современности, может помочь понять и былые смуты, и грядущие настроения (Buldakov 2018). И это может стать реальной точкой отсчета в осмыслении российских «парадоксов» прошлого и «сюрпризов» настоящего.

### **3. Революция или бунт?**

В 1922 г. известный русский писатель Марк Алданов, химик по образованию и знаток Великой французской революции, выпустил книгу, составленную из написанных за два предыдущих года статей о революции, вытолкнувшей его в эмиграцию. Характерно, однако, что он начинал с событий 23 августа 1572 г. – Варфоломеевской ночи, о которой не раз вспоминали в России в 1917 г. Ровно через 350 лет Алданов задумался о том, что средневековые страсти пережили эпоху Просвещения. Исходя из этого, шаг за шагом сравнивая события Французской и Русской революций, он пришел к выводу, что в России случился скорее грандиозный бунт, нежели ожидаемая политическая революция (Алданов 1922).

Алданов оказался не одинок: к аналогичным выводам приходили – скорее инстинктивно, нежели обдуманно, – совершенно разные люди. В 1919 г. известный медиевист и правовед П. Г. Виноградов, исследователь позитивистского склада, писал: «Если мы возьмем историю России, то обнаружим аналогию нынешнему состоянию в “Смутном времени” – периоде анархии, последовавшем за пресечением рода Ивана Грозного. Тогда, как и сейчас, в Москве правил лжецарь...» (Виноградов 2010: 479). Специалист по английскому Средневековью отказывался видеть в Русской революции продолжение европейских революций XVIII–XIX вв. Однако на протяжении целого столетия преобладала совершенно иная точка зрения.

О слабости собственно политических начал в России не раз говорилось еще до революции. Крайне правые из кружка сенатора А. А. Римского-Корсакова в записке, поданной в ноябре 1916 г.



Николаю II, отмечали «полную, почти хаотическую, незрелость русского общества в политическом отношении», доказывали, «сколь смешны и ничтожны деления русских людей на политические партии, сколь еще младенческая страна Россия в политическом отношении». Партийные лидеры настолько слабы и бездарны, что «торжество их было бы столь кратковременно, сколь и непрочно». А потому либералов непременно вытеснят левые, а затем выступит «революционная толпа, коммуна... погромы имущественных классов и, наконец, мужик разбойник», который после совершенной анархии и поголовной резни «приведет к власти нового царя, будь то Пугачев или Стенька Разин». Это связано с тем, что «яростный защитник своей собственности и такой же консерватор в своем быту, русский мужик делается самым убежденным социал-демократом с той минуты, когда дело коснется чужого добра». А потому толпа «часто меняет свои убеждения, с тем же увлечением поет “Боже, Царя храни”, как и орет “Долой Самодержавие”» (Архив... 1991, т. 5: 339–340). Опыт 1905 г. должен был предостеречь всех, но ненависть к существующей власти была такова, что о нем, казалось, никто не вспомнил. Более того, события 1917 г. стали оцениваться по совершенно иному – партийно-политическим, а не синергийно-охлократическим – параметрам.

Реакция видных писателей на падение самодержавия поражает своим безоглядным оптимизмом. Д. Н. Овсяннико-Куликовский убеждал, что «с поразительной быстротой разрушительная сила революции уступила место ее созидательной силе», при этом «не было стихийного урагана революционных страстей». По его мнению, «великая русская революция по праву должна быть признана самой разумной и самой даровитой из всех революций...» (Революция... 2018: 8, 9). Со своей стороны, В. Я. Брюсов уверял, что «только духовные слепцы могут не видеть, как величественно-прекрасно случившееся...» (Там же: 13). Ф. К. Сологуб считал, что это даже не революция, а «светлое преображение, величайшее из земных чудес» (Там же: 22). Разумеется, звучали и сдержанные голоса. 6 марта К. Д. Бальмонт пребывал «в экстазе»: «Россия показала миру пример бескровной революции». Ему сразу же возразил «мрачный» М. А. Волошин: «Подождите! Революции, начинающиеся бескров-

но, обыкновенно оказываются самыми кровавыми» (цит. по: Купченко 2007: 14–15).

Иностранцы, находившиеся в то время в Петрограде, увидели события по-своему. Отмечая случаи грабежа еврейских лавок и расправ с полицией и «буржуями», они задавались вопросом: «Это еще бунт? Или уже революция?» (Раппопорт 2017: 99, 101–104). Тогда было от чего содрогнуться цивилизованному европейцу: две отрубленные головы офицеров полиции, которые толпа несла «на шестах», убитые дети, увешанные офицерским оружием воинственные хулиганы. Полицейских «расстреливали, закалывали штыками, забивали дубинками», топили в проруби (Там же: 111, 115, 135, 137, 147). Разгула бунтарских настроений втайне опасались и представители российских элит. П. А. Сорокин изумлялся тому, что в «великой» революции оказались слишком сильны элементы «лакейского бунта» (Сорокин 2016: 44–45).

Впечатления российских и зарубежных наблюдателей заметно расходились – восприятие происходящего основательно корректировалось собственным культурно-историческим опытом. Правда, и те и другие отмечали стихийность происходящего, массу мечущихся по городу автомобилей с восставшими и устрашающую стрельбу из воображаемых пулеметов (их присутствие не обнаруживается ни на фотографиях марта 1917 г., ни в трудах дотошных историков) (Булдаков, Леонтьева 2017: 74, 84–85, 217). Революцию видели по-разному – сказывался эффект параллакса. И это до сих пор находит свое преломление даже в академических трудах.

Однако представители российских элит, в отличие от иностранных наблюдателей, гибели «прислужников старого режима» обычно не замечали. Вместо этого Л. Н. Андреев приветствовал «потрясающую весть о воскресении России из лика мертвых народов» и напоминал о безвестных могилах и трупах, которые «оставил позади себя Николай Романов» (Андреев 1917: 1). Однако в 1919 г. он предложил другой взгляд на события двухлетней давности: «Это злодеяние совершил Бунт, который родился одновременно с революцией, уподобился ей на время, украл ее лозунги и извратил их, обманул народы – и удушил свободу и всякую жизнь...» (Он же 1994: 361–362). Люди не просто идут на поводу у собствен-

ного воображения, но и с легкостью жертвуют истиной ради своих мыслительных удобств.

Великие революции порождают не только великие мифы, но и великие заблуждения. Ментальная инерция эпохи Просвещения возводила их в «прогрессистские» теории. И эти новейшие самообольщения столь основательны, что человек, взявшийся опровергать их, серьезно рискует. Именно это прослеживается и в сегодняшнем восприятии революции.

Рецепции знаковых событий прошлого определяются особенностями последующего времени, об адекватном восприятии истории говорить не приходится. Известно, что траектория образов и смыслов Французской революции менялась от одной коммеморации к другой – из прошлого извлекали «нужное» современности. В СССР – России происходили еще более удивительные метаморфозы. По прошествии ста лет одни историки говорят о «старте Страны Советов» в будущее (Шубин 2017), другие утверждают, что система, созданная большевиками, закономерно «сгнила и рассыпалась» (Боханов и др. 2016: 1326).

Но можно ли упорствовать в таких представлениях, если дореволюционная система стала не без успеха возрождаться в наши дни? Может, уместнее говорить о мутациях системы в целях самосохранения? И подобная мутация не могла не иметь глубинные истоки.

Обычно начало революции 1917 г. связывают с чисто внешними (война) политическими событиями. Между тем уже в 1902 г. началась длительная полоса стихийного крестьянского бунтарства (именуемого крестьянской революцией) (Данилов 1996), апогей которой наступил в 1905 г. и которая продлилась фактически до 1922 г. Но еще ранее, в 1903 г., прозвучал «звонок» еврейского погрома в Кишиневе, ставшего знаковым событием ввиду его масштабов и вопиющего попустительства властей и еще одним индикатором перегруженности социальной среды иррациональной агрессивностью. Со времени Манифеста об отмене крепостного права («О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей») в крестьянской среде развернулся, по сути дела, антимодернизационный процесс. Взаимоотношения крестьянства – основной массы населения империи –

и государственности приобрели деструктивно-антисистемный характер. Государству угрожала эскалация стихийного бунтарства, а не «управляемая» политическая революция. Однако последняя с помощью воображения европеизированных элит объявила себя победительницей самодержавия.

На деле торжество большевиков была обусловлено *саморазвалом* российской государственности, вызвавшим мстительное неистовство низов. И помогли этому характерные утопии того времени – как прогрессистские, так и традиционалистские. Более того, их разнонаправленность породила последующие коллизии советской (а затем и российской) истории. Линейно-прогрессистское историческое воображение, как ни парадоксально, лишь укрепившееся в советские времена, синергетической логики хаоса не принимает.

В значительной степени развал общеимперской иерархии стал возможным благодаря действию антисистемных элементов – в данном случае речь идет не просто о личностях диссипативного склада (свободных радикалах), а о феномене русской интеллигенции. Последняя сформировала своего рода *антикультуру*, самонадеянно ориентированную на слом «застойной» системы. Однако она была не способна стать новым системообразующим началом. И потому доктринальные установки интеллигенции оказались подавлены народными утопиями и бунтарскими инстинктами.

Конечно, «застойная» государственность в условиях глобализации, информационной революции и урбанизации была обречена. В России общеевропейский демографический взрыв не только обострил аграрный вопрос, но и добавил в общество социальной агрессивности. Особенно остро это ощущалось в крестьянской среде: центры духовной консолидации в лице внесловного сельского прихода не были созданы; органы земского самоуправления оставались отчужденными от крестьянского большинства; системы всеобщего образования не было; единой судебной системы не существовало; правовое воспитание населения отсутствовало; усиливающиеся миграционные процессы вели к маргинализации устаревшей сословной структуры. В целом о перевоспитании подданных в самодельных гражданах правящие верхи не задумывались.

Нечто подобное наблюдалось и в Европе. Мир стал слишком тесным, агрессивным и «быстрым». При этом индустриальный

прогресс словно создавал завесу над экзистенциальной реальностью. Не замечалось, что с начала XX в. европейские народы жили ощущением неустойчивости ситуации: ей противостояла вера во «всесилие» человека. Соответственно, возрастала эмоциональность, а заодно и «безрассудность» социальной среды. Сыграл свою роль и фактор социализации науки: ученые впервые попытались применить свои позитивистские практики к общественно-политической жизни. Произошел своего рода эмоциональный перегрев европейской культурной среды – относительно «сытой», старающейся мыслить «рационально», но остающейся неустойчивой в социальном отношении. «Одной из наиболее опасных черт современной мысли является неврастеническая импульсивность, которая делает ее жертвой меняющихся настроений и предположений», – писал историк П. Г. Виноградов (2010: 438). Как бы то ни было, все готовы были устремиться в будущее, которое непременно должно было оказаться «светлым». Правда, представляли его, как и нравственно допустимые пути его достижения, по-разному.

Некоторые российские мыслители догадывались, что под поверхностью бродит некое «темное вино». «В русской политической жизни, в русской государственности скрыто темное иррациональное начало, и оно опрокидывает все теории политического рационализма», – считал Н. А. Бердяев. По его мнению, действие этого фактора превращало российскую историю «в фантастику, в неправдоподобный роман». Происхождение этой «варварской тьмы», «хаотической стихии Востока» Бердяев связал с географическим фактором – чувством беспомощности и неспособности россиянина организовать управление громадными пространствами, а потому склонного переадресовывать эту миссию центральной власти, превращающуюся тем самым для него в нечто трансцендентное. Русский человек «привык быть организуемым» (Бердяев 1990: 54, 61, 66, 68). Но из этого могло получиться и другое: стихийный бунт против «дурной организации».

Сходные оценки предвоенной ситуации имели место и в Европе. Макс Шелер исходил из того, что человек – это «заболевшее своим духом животное» (Шелер 1994: 93). Из этого следовало, что мир может оказаться во власти неуправляемых эмоций. И некоторые догадывались: европейский человек сорвется либо в войну, ли-

бо в революцию – такое периодически случается (см.: Laffan, Weiss 2012).

Интеллектуальные достижения могут стать причиной неуправляемого хаоса. Ни статистически оцениваемый «прогресс», ни картина внешней стабильности не гарантируют от извержения хтонических сил, накопленных в «сдавленном цивилизацией» подсознании народов. И тогда человека спасает не разум, а инстинкт, не доктрины, а мифы, или же утопии, выступающие под видом доктрин и превращающиеся затем в мифы.

Позднее европейские мыслители, подобно С. Цвейгу, догадались, что война была вызвана ощущением «переизбытка силы – трагического порождения внутреннего динамизма, накопленного за сорок мирных лет и искавшего разрядки в насилии» (Цвейг 2004: 13, 160). Действительно, европейский пацифизм еще не укоренился в сознании элит. К тому же во Франции давала о себе знать травма проигранной войны, а в Германии – инерция военной победы.

Российское общество не было лишено собственных геополитических иллюзий. Призрак «Константинополя и проливов» со времен Ф. М. Достоевского продолжал соблазнять интеллигентские умы. Между тем Европа двигалась к мировой войне, Россия – к своей квазиреволюции, принявшей стихийно-бунтарские формы именно благодаря этой войне. Тогдашние партийные элиты не были к этому готовы. Чем основательнее историческая закономерность, тем неожиданнее может оказаться ее революционное воплощение. А это, в свою очередь, ведет к разгулу воображения, парализующего способность к научному анализу.

У любой победы всегда множество «творцов». Произошедший в феврале 1917 г. «переворот» лидер российских либералов П. Н. Милюков назвал «самоликвидацией старой власти». Почему-то историки не замечают этой «оговорки по Фрейду», как и ханжеских восхвалений «революционного народа» (Милюков 2001: 448). Тем временем монархисты сочиняли унылые эпитафии, не лишённые, однако, пронизательности: «От пустого дуновения ветра самодержавие дрогнуло, покачнулось, рухнуло и рассыпалось в прах. Оно пало не от того, что его сломали; оно развалилось от того, что сгнило и долгие “быть” не могло» (Врангель 2003: 361, 343). Некоторые обыватели-интеллигенты в сердцах высказывались еще кате-

горичнее: «Революции не было, самодержавие никто не свергал. А было вот что: огромный организм, сверхчеловек, именуемый Россией, заболел каким-то сверхсифилисом. Отгнила голова – говорят: “Мы свергли самодержавие!” Вранье: отгнила голова и отвалилась» (цит. по: Руга, Кокорев 2011: 503). Конечно, столь циничная трактовка событий меньше всего устраивала невольных революционеров. Отсюда обилие политических интерпретаций тех событий, которые воспроизводятся и в наши дни.

#### **4. Видимое и невидимое в Русской революции**

Считается, что миф помогает человечеству выжить, крушение мифа – двигаться вперед. К. Маркс в соответствии с духом Просвещения считал революции локомотивами истории. За эту идею уцепился В. И. Ленин, упорно изыскивающий способы подтолкнуть «прогресс». Все тогдашние «материалисты» двинулись дорогой мифа. И, естественно, проиграли. Но почему мы продолжаем мыслить в рамках марксистско-ленинской парадигмы, хотя минувший XX век наглядно показал утопичность такого подхода к истории? Вероятно, потому, что эпохе Просвещения удалось примирить разум с чувством, сблизив реальное с воображаемым. Возникла убежденность, что все проектируемое осуществимо. На этой основе сложилась привычка микшировать неудачи прошлого иллюзиями движения вперед.

Говорят, что свободу имитировать нельзя. Однако повсюду имитируется демократия. Почему это возможно? Представляется, что опыт 1917 г. дает убедительный ответ на этот вопрос.

В наше время скептики не устают твердить, что демократия возможна лишь при условии, что под нее соответственно отформатирован человеческий материал. Но при наличном качестве человеческого материала проблема прогресса решается не революционным, а эволюционным путем. Стоит задуматься: почему *homo rossicus* не был готов к демократии? В чем причина его политической «ущербности»? И к чему он вообще был готов в социетальном отношении?

Человек – существо зависимое *sui generis*. Но склонность к «своему хозяину» он всегда будет скрывать, как обычно скрывают врожденные слабости. Без самообмана трудно жить, тем более что

российский авторитаризм в видах собственных управленческих удобств упорно возводил патерналистский конформизм в социальную добродетель. Впрочем, вся эпоха Просвещения постепенно превращалась во время самообольщений и самообманов. Человек, становясь относительно сытым, начинает разменивать реальное знание на иллюзию Прогресса.

Особые искушения возникают в переломные времена, в своего рода «рождественский» *fin de siècle*. Они могут прийти под влиянием чужих – «немецких» – успехов. Несомненно, они связаны с повышенной социальной нервозностью – тогда антитезой социальной паранойи становятся надежды на социально-революционное «чудо». В общем, человеку больше нечего терять, он становится безрассудно-авантюристичным.

Именно поэтому революция длительное время воспринималась в сугубо оптимистическом духе. «Революция очень долго представлялась исключительно как череда победоносных войн, которые вел жаждущий свободы и вдохновленный благороднейшими стремлениями народ против союза всех сил угнетения и невежества», – писал Ж. Сорель задолго до Русской революции (Сорель 2010: 102).

Революции предшествует время «больших ожиданий». Вся Европа была идейно «беременна» – но не той революцией, которую ожидал В. И. Ленин. Она «сорвалась» в войну, которая, впрочем, воспринималась как своего рода «революционное» освобождение от «последнего» препятствия на пути к всеобщему миру и благоденствию (Булдаков, Леонтьева 2015: 14–15, 30–31).

В России положение было иным: чрезвычайно сильной оставалась инерция революционного *развития*. Имеются в виду не только и не столько события 1905–1906 гг., не обилие всевозможных социалистических партий, а поднявшаяся в 1902 г. волна крестьянского бунтарства. В критических условиях социалистические проекты и крестьянские утопии (главным образом «черный передел» всей земли) не могли не сомкнуться. Вместе с тем общий «кризисный ритм» российской истории совпал с европейским кризисом, породив утопию мировой революции, – так возникла антитеза «ужасам» империализма.



Такой логики обычно не понимают: «пытливый» человеческий разум в первую очередь занят поиском когнитивных удобств. Именно поэтому представления о революции оказываются крайне схематичными и тем самым особо убедительными для людей, не искушенных знанием. В восприятии революции человек питается самообманом, его самообольщения охотно подхватываются историческим сознанием. И то, что после революции ситуация в большей или меньшей степени возвращается на круги своя, никак не устраивает наше утопически-прогрессистское сознание.

Историю революции упорно описывают как историю политических партий. Между тем нет никаких оснований связывать реальные политические настроения российского населения в 1917 г. *только* с электоральными успехами или неудачами тех или иных партий (Булдаков 2016: 105–108). Массовое сознание не имело ничего общего ни с партийными доктринами и программами, ни даже с завораживающими, как может показаться, социальными лозунгами. В России это обстоятельство приобрело особое значение в силу того, что верхи и низы пребывали в разных культурных измерениях.

Во-первых, массовое сознание оставалось архаичным, лозунги и тем более программы партий воспринимались неадекватно. Более того, по мере усиления всеобщего недовольства они «переводились» на язык толпы со всеми вытекающими отсюда последствиями. В любом случае тяга к авторитаризму, притаившаяся в самой природе человека, в определенных обстоятельствах не может не проявить себя.

Во-вторых, партии с самого начала поддерживались снизу скорее условно и ситуативно. Социальные требования низов могли лишь внешне совпадать с программными установками политиков. Отсюда резкий перепад отношения к тем или иным партиям и лидерам. Соответственно, в российской авторитарно-патерналистской политической культуре симпатии населения имплицитно смещались в сторону больших партий и сильных лидеров.

В-третьих, в России по-прежнему слишком велика была роль эмоций, концентрирующихся вокруг имиджа тех или иных «вождей» (Булдаков 2017а). В этом смысле ситуация 1917 г. показательна: *толпы* «перебирали» лидеров, пока не останавливались на

фигуре, устраивающей их в данный момент. То же самое можно сказать об институтах. Происходила аберрация демократических начал, вылившаяся в иллюзии об особой демократичности Советов.

Наконец, следует учитывать, что массы попросту устали от навязываемого типа «народовластия», им «наскучили абстрактные проблемы» (Раппопорт 2017: 407). Электоральные показатели не отражали протестных волеизъявлений и зыбкости политических настроений. Между тем растущая социально-политическая поляризация не исключала желания голосовать против всех. К тому же сказывался рост фрустрационных настроений в массе населения.

В целом под покровом «успехов» отдельных партий могла таиться вовсе не та демократическая «сознательность», на которую рассчитывали те или иные партийные деятели. Электоральные результаты были зыбкими, общая картина «демократических» выборов – иллюзорной. Тем не менее «бунташную» российскую революцию идеализировали даже ее противники. «Пусть это только “восстание рабов”, темных, невежественных, даже жестоких и ленивых – я все же не могу осудить *рабов* и пропеть хвалу *рабовладельцу*», – писал Л. Н. Андреев (1994: 227). Так подготавливалась почва для веры в возможность «построения социализма в одной, отдельно взятой, стране».

Большевики мечтали о прорыве в будущее, но вынуждены были опираться на социальную архаику. Прогресс на такой основе был невозможен, пришлось его имитировать. Людям пришлось затевать игры со своим прошлым, чтобы в конце концов составить из него «правдоподобный» рассказ, порожденный старыми и новыми химерами собственного воображения. И в этом участвовали не только историки; историческое воображение делало заложниками провозглашенного «прогресса» людей самых различных социальных слоев.

Революция воспринималась как «светлый миг» – символ достижимости чаемого идеала. К тому же наблюдателей социального катаклизма подталкивала вера в добро. «Россия – замечательная страна, полная света и тени, только вот сейчас тени преобладают», – писала жена американского дипломата в начале 1918 г. (цит. по: Раппопорт 2017: 430). Со временем темные стороны революции

превращались в малозаметные эпизоды или вообще стирались. Из самообольщения прогрессом выросло самообольщение «великой» революцией (Булдаков 2017б). Большеви́стская пропаганда довела эту особенность человеческого воображения до идеократического абсурда, превратив упорядоченную череду событий в магическое действие своей партии, а затем в сакральное основание советской государственности. Подобная революционно-этатистская иллюзия прогресса долго существовать не могла.

### *Литература*

**Алданов, М. А.** 1922. *Огонь и дым*. Париж: Франко-русская печать. 188 с.

**Андреев, Л. Н.**

1917. Памяти погибших за свободу. *Русская воля* 1 (утренний выпуск 5 марта): 1.

1994. *S.O.S.: Дневник (1914–1919). Письма (1917–1919). Статьи и интервью (1919). Воспоминания современников (1918–1919)*. М.; СПб.: Atheneum; Феникс. 598 с.

**Архив** русской революции: в 22 т. 1991. М.: Терра; Политиздат. 361 с.

**Бердяев, Н. А.** 1990. *Судьба России*. М.: Советский писатель. 346 с.

**Бонч-Бруевич, В. Д.** 1926. *Страшное в революции: По личным воспоминаниям*. М.: Огонек. 47 с.

**Боханов, А. Н., Морозова, Л. Е., Рахматуллин, М. А.** 2016. *История России: с древнейших времен до наших дней*. М.: АСТ. 1744 с.

**Булдаков, В. П.**

2010. *Красная смута. Природа и последствия революционного насилия*. М.: РОССПЭН. 967 с.

2013. Историк и миф. Перверсии современного исторического воображения. *Вопросы философии* 8: 54–65.

2016. Российская многопартийность: иллюзии прошлого, химеры современности. *Полис. Политические исследования* 4: 100–114.

2017а. Революция и эмоции: К реинтерпретации политических событий 1914–1917 гг. *Эпоха войн и революций: 1914–1922: Материалы международного colloquium (Санкт-Петербург, 9–11 июня 1916 года)*. СПб.: Нестор-История. С. 460–475.

2017б. Революция и самооболение прогрессом. *Великая российская революция: общество, человек, культура, повседневность*: сб. научных статей по материалам Международной научной конференции. ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет». Т. 1. М.: ИРИ РАН. С. 7–23.

**Булдаков, В. П., Леонтьева, Т. Г.**

2015. *Война, породившая революцию. Россия, 1914–1917 гг.* М.: Новый хронограф. 720 с.

2017. *1917 год. Элиты и толпы: культурные ландшафты русской революции.* М.: ИстЛит. 624 с.

**Виноградов, П. Г.** 2010. *Избранные труды.* М.: РОССПЭН. 632 с.

**Врангель, Н. Е.** 2003. *Воспоминания: От крепостного права до большевиков.* М.: Новое литературное обозрение. 505 с.

**Данилов, В. П.** 1996. *Крестьянская революция в России. 1902–1922 гг. Крестьяне и власть.* М., Тамбов: ТГТУ. С. 4–23.

**Дорошевич, В. М.** 1917. *При особом мнении.* Кишинев: Изд. тов. «Бессарабское книгоиздательство». 119 с.

**Купченко, В. П.** 2007. *Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества. 1917–1932.* СПб.: Алетейя; Симферополь: Сонат. 624 с.

**Милюков, П. Н.** 2001. *Воспоминания.* М.: Вагриус. 635 с.

**Петров, Ю. А.** 2017. *Россия накануне Великой революции 1917 г.: современные историографические тенденции.* В: Петров, Ю. А. (отв. ред.), *Российская революция 1917 года: власть, общество, культура*: в 2 т. Т. 1. М.: Политическая энциклопедия. С. 12–26.

**Раппопорт, Х.** 2017. *Застигнутые революцией. Живые голоса очевидцев.* М.: Эксмо. 512 с.

**Революция** продолжается. 1917 год глазами писателей. 2018. М.: Common place. 334 с.

**Руга, В., Кокорев, А.** 2011. *Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта в период Первой мировой войны.* М.; Владимир: АСТ: Астрель; ВКТ. 730 с.

**Сорель, Ж.** 2010. *Размышления о насилии.* М.: URSS. 163 с.

**Сорокин, П. А.** 2016. *Неизвестные газетные статьи 1917 г.* М.: Петро. 155 с.

**Шелер, М.** 1994. *Избранные произведения*. М.: Гносис. 413 с.

**Шубин, А. В.** 2017. *Старт Страны Советов. Революция. Октябрь 1917 – март 1918*. СПб.: Питер. 447 с.

**Цвейг, С.** 2004. *Вчерашний мир: Воспоминания европейца*. М.: Вагриус. 346 с.

**Buldaikov, V. P.**

2017. Révolution ou révolte ? Nouvelles perspectives cent ans plus tard. *Vingtième Siècle. Revue d'histoire* 3(135): 159–174.

2018. Revolution and Emotions: Towards a Reinterpretation of Political Events of 1914–1917. *Russian History* 2–3(45): 196–230.

**Laffan, M., Weiss, M. (eds.)** 2012. *Facing Fear: The History of an Emotion in Global Perspective*. Princeton, N. J: Princeton University Press. 288 pp.